ТРОЕ

ХЕЛЬГА ОЛЬШВАНГ

Α΄ΙΛΟΥΡΟΣ

Хельга Ольшванг

ТРОЕ

Стихи 2013—2015

Ailuros Publishing
New York
2015

Редактор Елена Сунцова.
В оформлении обложки использованы материалы из архива Хельги Ольшванг: фотография 1911 года и карточки для стереоскопа.
Подписано в печать 27 мая 2015 года.

The Three
Poems by Helga Olshvang
Ailuros Publishing, New York, USA
www.elenasuntsova.com

Copyright © 2015 by Helga Olshvang, text.
Copyright © 2015 by Vladimir Gandelsman, preface.
All rights reserved.

ISBN 978-1-938781-36-0

Увижу ли
вижу уже или нет
или
нету уже
вроде немного
так что
не вроде не знать
ни когда я увижу
ни как
ни за чем сказать
а только тоска о тебе и
тоска о тебе не увереть
совсем
и увижу я разве уже
не теперь
это видимо больше и там
и не здесь

«ТРОЕ» В ОДНОМ ЛИЦЕ

Хельга Ольшванг — из числа моих любимых поэтов, поэтому, надеюсь, я вправе сказать несколько слов о её стихах.

Поэт и поэзия не вопрос таланта. Конечно, он необходим, но нет ничего зауряднее этой недостаточной необходимости. Не берусь определить, что есть поэт и поэзия, могу только сказать, что это, в частности, вопрос нарушения однажды найденного, начинания каждый раз с нуля и непрерывного обновления. Мандельштам говорил об искусстве как о радостном подражании Христу. Что ж, книге следует иметь в виду Книгу. Пусть в ней сказано: «Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас», — но сама Библия опровергает сказанное своей всегдашней новизной.

Я уверен, что Х. О. помнит об этом, поскольку совершает попытку в единственно правильном направлении. Так было и в предыдущей её книге — «Версии настоящего», где в первом стихотворении сборника дерево роняло яблоко и рождался ребёнок, которому предстояло это яблоко когда-нибудь надкусить, а в последнем — вновь появлялись яблоки, утешительно замыкая композицию («Яблоки благоухают в траве, сушатся на столах...»).

Попытка продолжается. Уже название — «Трое» — тому свидетельство. Мать, отец, дитя. Отец, Сын, Святой Дух. Хорошее название.

ТРОЕ

Забрали из садика мать и отца,
и стали они на земле жить,
во времени, только с другого конца:
корёжит их ветер, и мочит роса,
и страсть не оставит лица на лице
но яблоки ешь не хочу, и внизу
им хочется яблока реже.

Я вырасту прочь из себя, из минут,
одежды, полезных занятий, из нот,
из праздников детских протяжных,
и вечером тоже меня заберут
из сада и за руки выведут —
тот
и та, словно двое присяжных.

Да, каждый из нас состоит из троих,
и в сговоре с ними тремя, а до них
он помнит, что был темноватый
сад, тихий час вечный, янтарный компот,
что больше никто никого не возьмёт
оттуда и все виноваты.

«Трое» — стройное стихотворение, и, кстати, нетипичное для Х. О. Её стихи похожи на деревья, растущие диким, неподстриженным образом — строки-ветки растут прихотливо: то удлиняясь, то укорачиваясь, повинуясь пульсу поэта. А пульс определяется взглядом, который то скользит по предметам или, лучше сказать, по приметам жизни, неутомимо перечисляя их, то вцепляется в них, то останавливается в умозрительности, словно бы подытоживая и осмысливая увиденное. При этом в каждом стихотворении присутствует специфический почерк, а именно: кинематографичность взгляда — не зря Хельга снимает кино — смена планов: то первый, то второй, то третий, и, как в хорошем кино, — достоверность всех планов. Этой смене соответствует фраза с каким-то блуждающим словом, то есть со словом, относящимся, скажем, к предыдущему пассажу, но вынырнувшем в другом месте, словно бы камера на мгновение вернулась к прежнему объекту. И в целом, то есть в композиции всей книги, присутствует это кружение и возвращение к сказанному (или лучше: показанному) прежде. Вот «съёмка» в Центральном парке:

Дно водоёма устлано медяками,
поверхность — сором и лепестками,
хлебными корками. Тут как тут
утка (утке, тихо):

— Переплыви, посмотри—
падают к нам
мякиш, обёртки цветов,
двойники платанов,
двойницы лип.
Рыбы, сначала отпрянув, туда спешат, разевая рты,
и мелькают шаги существ по краям воды.
Переплыви, вернись, наклонись,
нырни,
мир под водой продолжается, под крылом,
он залегает внутри, облекает нас по бокам,
наверху повторяется, но крупней,
пруд, и в нём разбухает дым.
Рыбы там плавают по прямой, оставляют следы. Мы не можем туда нырнуть —
мы бесследно летим,
недолго живём
и не можем себя вернуть.

И напоследок — о сути дела (в частности).

Она в словах одного философа-музыковеда о Бахе, который «понял сладость противоречия, бессмыслицы, тайны… Он понял небольшую погрешность в некотором равновесии». Эту погрешность, вероятно, допустил Бог, и благодаря ей нам дано проникнуть в Его замысел, или — не столь самонадеянно — в потусторонность, в соседние миры. Чистое равновесие (абсолютная гармония) этого не позволяет, в ней невозможно оступиться, мир безупречно покоится на весах, всё — благополучная иллюзия, майя.

Подобно тому, как Бог допустил «погрешность», Х. О., созданная по Его образу и подобию, совершает эти благодатные «погрешности» в своих творениях.

Слово тяготеет к логике и смыслу, по мере художественного применения становящимися той гармонией-майей, которую необходимо преодолеть, чтобы проникнуть за пределы видимого (слышимого, осязаемого). Об этом знали великие поэты прошлого.

Пушкин: «...без грамматической ошибки / я русской речи не люблю». Мандельштам: «Её влечёт стеснённая свобода / одушевляющего недостатка». Одушевляющий недостаток — в этом суть дела.

Помимо точности и правды разума есть эмоциональная правда, когда слово вырывается без спроса и поэт позволяет ему вырваться. Оно может (и должно!) нарушить причинно-следственные связи. Человек оступается и только тогда «переживает» лестницу — так же и читатель «оступается», когда на ровной лестнице стихотворения возникает это слово. И тогда всё преображается, становясь запоминательным и неопровержимым.

В переводе Библии на язык Хельги Ольшванг читатель найдёт этому многочисленные подтверждения.

Владимир Гандельсман, апрель 2015

Моим детям
Николаю, Антону, Александре-Зои
и Софии-Мари

To my children
Nikolai, Anton, Alexandra Zoe
and Sofia Marie

* * *

Всё задевая углами, пока несли,
выносили.
Осыпалась хвоя на лестницу,
два-три
мелких цветка, и уже в дверях —
стебель саблей махнул на лету вниз.
В пятнах сырых
несущие стены, зевак
и несущих спины осенью
на полусогнутых. В пол-оборота видны были швы по бокам,
мельком, воздуха вдруг стекло,
провода и столбы.
Главное — вынести было, пока светло.
Вынести, вынести бы.

* * *

Заслонено, и тем сильнее чувство —
завалено, задвинуто — разлуки
с тобой, закрыто наспех чем попало.
Как будто в осаждённом доме,
за миг до смерти или сразу после,
снуют, сбиваясь, преданные слуги
(хозяевами преданные) — мысли
о том, к кому уже не прикоснуться.
Тебя так нет, что я сейчас не знаю,
кого из нас двоих считать не бывшим.
Тебя не вижу и себя не помню.

* * *

дождь заштопает-законопатит это это это
то и то
снеговика великолепие былое где оно?
зато
дальше всё другое
воздуха излив реестр
вольный перевод часов
поспешный переезд
шапито со всеми ними
костюмерами усов
блёсток и бичей сверкателями шпаг
циркулярами осадков вьюг лассо швырятелями где они?
впотьмах
в поле зрения пустом
вмятина осталась в дырах от опорных дуг
шатра
вода со льдом

* * *

Голу́бок тьма, как в Риме.
Их кормила тут одна,
просушивая зимнее — рейтузы, в основном —
на солнечном свету,
но Храм и Гастроном её потом согнали
(общая стена,
радение за чистоту).
И где ты есть теперь,
бездомная, в сырых, небось,
рейтузах, где теперь голубкам есть, где милость — этот мост
между тобой и нами, голубогая, где слово это, Даль?
Пятно пятном:
что крошка на ладони, что стигмат. Склюёт — терпеть.
Что там за пустота, в дали там за скелет,
за тьма, за голубь там, фасад, за рай, за дом,
за входы там, за верхний свет,
что там гулит, курлычет, плачет мимо звёзд
внутри?

* * *

Предвижу день: похожее на спуск
его неровное движенье, когда, полууснув, моллюск
в коробке черепной забудет все решенья
и старость передаст заботу о себе
родным и патронажным сёстрам,
возляжет тело — челюсть на засов,
язык — апостроф,
и вместо мыслей в воздухе рябом —
уклончивые рыбки надо лбом.

* * *

Сколько песка ни насыплешь в овраг,
в горлышко амфоры, в горсть,
он не вмещается в меры и прах
не обращается в кость,
сколько «мута́бор» песку ни кричи.
Сколько его в темноте!
Сколько метафор песка ни ищи,
нет им числа и не те.
Можно представить, что эта — врасплох —
ночь состоит из минут,
можно представить, что хрупкий пирог
тела достанут — придут
по истеченье, и сон тесноват,
но остаются ходы
в сакраментальном песке, и лопат
кромки. И близость воды.

* * *

Летит по небу витебский любовник,
снижается к нему навстречу купол не купол, сердце колоколом настежь,
о щёки лупит языком неровных
«люблю» звонарь, и сон идёт на убыль.

И проступает твёрдая обложка
вчерашней книги. С той же частотою
слышны часы, и оловянной ложкой
лежит на солнце озеро пустое.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК

Дно водоёма устлано медяками,
поверхность — сором и лепестками,
хлебными корками. Тут как тут
утка (утке, тихо):

— Переплыви, посмотри—
падают к нам
мякиш, обёртки цветов,
двойники платанов,
двойницы лип.
Рыбы, сначала отпрянув, туда спешат, разевая рты,
и мелькают шаги существ по краям воды.
Переплыви, вернись, наклонись,
нырни,
мир под водой продолжается, под крылом,
он залегает внутри, облекает нас по бокам,
наверху повторяется, но крупней,
пруд, и в нём разбухает дым.
Рыбы там плавают по прямой, оставляют следы. Мы не можем туда нырнуть —
мы бесследно летим,
недолго живём
и не можем себя вернуть.

Экскурсовод:
— Перед вами сейчас цветут
все, практически все растенья.
Виды птиц, доступных для наблюденья, — слева и справа

нашей тропы. Мост «Дуга» называется — bow.
Или «Бант». Основное дерево — клён, смотрите…
(Оправы блестят,
старик осязает зубной имплант кончиком языка.
Солнце в зените.)

Дерево (дереву):
— Да, они существуют, но так недолго, и так быстры,
что кажутся рябью цветной на склонах
нашей жизни. У них
мякоть вместо коры, мало веток и громкие гнёзда в кронах.
Они, нападая, вонзаются в нас, крушат,
и мы сокрушаемся. Видишь пятна,
полосы? Это они. Есть ли у них душа? Мне говорили, но я не помню…

Солнце летит обратно
за навес летних веток попасть, ветвей,
вензелей, скрыться за парком в сени вилочек ветхих и войлочных потолков
промеж телец в корявых телах
ив. И в линзах становится тесно
лицам, листьям, и беженкам-белкам, и бликам, и полчищам тесно травы, и оравам
бродить поперёк, посередине природы, вовеки её,
древкам знамений бесшумных тесно. И слишком ещё светло,
чтобы сняться на фоне природы, пруда, уток, стволов, навести
на резкость последнее зрение наше, даже весло занести
некуда — всюду миры, свет контровой.
Экскурсовод озирается. Мост за его головой.

* * *

Медленная панорама: несколько, обнявшись, лип,
скамья с табличкой «Love you still, Zoe», шпиц во всю аллею, музыка из арки, птица, хлеб,
отблеск из последних сил
дня (за кадром) и к воде спуск: там уже закат,
лодок визг в прощальной тесноте,
взятых напрокат, крупно взятых.
По нерезким дальше ПНР*
склонам вечереющих детей увозят, увезли.
И скрипичит арка птицы на манер
всё ещё. И Zoe всё молчит из-под земли.

* Панорама (кинематографический термин, означающий поворот или наклон камеры для изменения направления съемки)

ТРОЕ

Забрали из садика мать и отца,
и стали они на земле жить,
во времени, только с другого конца:
корёжит их ветер, и мочит роса,
и страсть не оставит лица на лице
но яблоки ешь не хочу, и внизу
им хочется яблока реже.

Я вырасту прочь из себя, из минут,
одежды, полезных занятий, из нот,
из праздников детских протяжных,
и вечером тоже меня заберут
из сада и за руки выведут —
тот
и та, словно двое присяжных.

Да, каждый из нас состоит из троих,
и в сговоре с ними тремя, а до них
он помнит, что был темноватый
сад, тихий час вечный, янтарный компот,
что больше никто никого не возьмёт
оттуда и все виноваты.

* * *

На проспекте Вернадского детством ранним
начинается, мёрзнет
очередь быть закалённым,
очередным. Забор.
Нет никого — отпереть оконце,
отверзнуть дверную створку,
хлябь небесную, выдать по номеру
хлеб и солнце,
водку, справку, верёвку,
лекарство, ребёнка в атласном свёртке,
по одной типовой отчизне — в руки,
по рыбе сырокопчёной,
по одной жизни, вечно короткой,
поочерёдной муке.

* * *

С видом на пруд и за ним общежитие,
с видом на смену времён
года, минувшая комната, сшитое
платье вручную, карман.
Створкой неплотно прикрытое лаковой
шкафа смешное нутро,
в недрах которого прятали лакомый
в юности «Космос» хитро,
чтобы вернуться и школьные выкропать
злые часы из ума,
с видом Кармен прямо в форточку выкурить
«Космоса» тайный запас.

* * *

Прощай, моя огромная, свинарок-пастухов
страна, недвижимых земель и мёртвых земляков,
ВДНХ моя навек, метро моё внутри
и вальсы радиопомех в отзывчивой дали,
вокзалы в астрах и рывки тромбонов-труб: колен
их и локтей, духовики всех яростных идей
«прощай» рыдающие вслед призывникам в кирзах.
Вот-вот поскачет в окнах лес, как девушка, в слезах
и хлынут титры всех имён, в крестах-подрывах сплошь,
оставшаяся ночь взамен любви, когда умрёшь
во мне, кромешная страна,
когда умрёшь со всем
своим протяжным, как слюна,
бахвальством и свинцом.
Прощай моя «полей и рек»
и лагерей и плах.
Из дома вышел человек.
Остались стыд и страх.

* * *

Снег идёт ступеням
и оврагам,
зданиям — больничным и тюремным даже, паркам,
довоенным статуям идёт, наклонным
Праге или Риму заоконным, —
крупная, лепная рама.
А в Москве идёт развеска:
новые полотна.
Площадь в декабре, идёт подробным
шагом белая толпа.
Сейчас развязка.

* * *

Сомкнулась за спиной куницы поросль,
и солнце покосилось на меня
поверх листвы. Я знаю, это сон, но всё как настоящее. Исполнись,
прогулка, дозвучи. Редеет с двух сторон
осинник, и за ним река ликует,
а в колее обрывками парчи валяется вода.
И неба наверху лёд (рыбы в нём видны).
Я знаю, это сон — и неба рыбы
и просека, и осень, и река,
и ты, идущий справа, но пока
прогулкой притворяется движенье,
мы влюблены, а не лежим во льду
мертвецкой, кверху лицами, в ряду
с другими
жертвами крушенья.

* * *

Мимо них ребёнок плачет, накрывают стол,
злое дерево маячит ночью между штор,
размораживает рыбу мимо них, в тазу,
дочка прежняя за гробом, зреют на весу мимо них плоды в посёлках,
зреет мир к войне
мимо них — безвидных. Скольких
лет уже вовне павших. Некуда теперь им
жить в твоём краю. Некем.
Страшное за дверью.
Баюшки-баю.

* * *

Солнце рухнет, и очнусь
в комнате, на слух
прежней, только в ширину
выгнувшейся вдруг.

Выяснится дверь, пола
пиджака внутри
приоткрытого стекла,
скважина в двери,

выяснится жёлтый край
книги, синий верх
форточки, лучи в углах
потолка и век,

выяснится, что нельзя
вспомнить ни имён,
ни значений жизни за
смертью с двух сторон.

DAZEING

Само с собою бьющееся, тела
сердясь внутри, «Я» — вот.
И простота,
с которой это «Я» осваивает бой
и бытие выносит,
беспримерна.
Тут не отступишь, тут не увернёшься:
везде побеги, мышцы, корешки,
сосуды, морды, полости и пена,
везде живое, я и говорю.

Дождь был, теперь
дорога высыхает.
Возобновлённых улиц голоса.

* * *

Нежданных углов, подлокотников,
неумолимых колен, где блуждает дитя,
навечно минувшая комната:
помню, что был
аквариум с гротом.
Аквариум.
Тихий коралл.

* * *

сон в одежде школьной зимой
не сразу проходит
от сердца к мизинцу кровь
проходит занять места
на пуантах снег проходит толпой
мимо дома в углах цвета
сгущаются
комнаты медленной как хорал
одновременно молчащих всех
мыслей руку в кулак не сожмёшь и смех
разбирает смех поэтому
дверь провал
хочешь пройти отсюда
на кухню на свет посреди стола
отражённый в конце коридора
близких направо под лампой лиц
но сил нет встать и помню всё это
и чайника сиплый свист
помню
как смерть что уже была

КАРАКАЛПАКСТАН

...потом торжественное мимо проезжает
семейство с дыней, покрывалом и кнутом
в телеге, в телике окна, и свет мешает,
а берег всё никак не настаёт —
ни расстелить ни растянуться:
кадр держится на них, не выпуская.
Свет
плохой на лицах.
Но можно различить с отчётливой тоской
в потёках солнечного пара
бутылки выпивки недорогой,
на покрывале ягуара,
детей, захваченных дорогой, остальной узор,
на сгибах — швах его несовпаденья,
сиреневые тени на локтях,
ответный взор, окурка вбок паденье.
Но нет меня и нету их нигде.

* * *

Стол, стулья вокруг разной масти стоят, наклонясь,
как животные в засуху — к бледнополосой
луже солнца, и пусто кафе, несмотря на обеденный час
и настенную роспись: в траве
повторяется роза в траве повторяется роза.

Лето в самом начале, но всё тоскует о нём уже.
Diner, где твои diners? Только в таких местах —
нелепых — на первом-втором этаже и меню о семи листах —
нахожу себе место свиданья.

Отраженье в столе и узор наверху —
налицо, а внутри, если верить Декарту, конечно,
потаённый закон залегает, как роза, в мозгу
и о городе память кромешном.

В эту пору всегда на бульварном кольце
пахло краской и, помнится, выпечкой мятной,
в дождь особенно.
Курят на заднем крыльце.
Дверь прикрыта, но всё залетает обратно.

* * *

Кроме дыма и урн,
всё было плоским, прямым,
даже утром. Звучали, помимо детских программ,
новости или ноктюрн в бачках.
Был Музей восточных культур
(шарик в шарике, воины, хижина в облачках).
Были свойства солей и кислот,
феодальных общин очаги,
революций, строение сердца голубки
проходящие дети, и я у доски
перед ними не помню ни дат,
ни имён. В антресолях манящих коробки
летних, тонких вещей. Небо над.

* * *

Берег окна и ровный обрыв стены.
Беззвучно смеётся собака внизу, привстав на лязг отворяемого.
Перед самым твоим приходом
бывает такой состав воздуха, утро такой длины.
Вот он, конечно, край,
за которым уже сплошной
шум капилляров и жил, раздуваемых ветром
стеблей, гортанных цветов и артерий, эха за слоем слой
пролетающей крови,
неровный лай.

* * *

Не видно — где мы, кто ты не видно.
Переменный ток
теснит изнанки тела, стенки, магистрали.
Но мы — те, кто сейчас из ног и ног и языков и спин составит зверя,
знали, что будет так темно.
Когда из рукавов, из шапок,
из горловин, сапог и складок
вываливаясь, наг,
навстречу миру плачет смертный,
и спиртом пахнет предрассветный
мир этот, звякающий в такт
судорогам и тела в тело
попыткам впасть, когда светило
вдруг, со щелчком,
перегорает, жизни повод
найди, сознание, само. Вот,
здесь он — зверь,
о ком.

* * *

Были дни, со мной был человек — напротив, через стол,
сообщал мне весть и рот его смеялся, голос плыл, пылал,
сияла борода.
Я могла его не видеть, не могла — был ореол,
пустыня сахара-солонок-перечниц-приборов простиралась мимо,
слов мешала быстрота.

Разжигали там свечу в пять ровно
и стояли немо над,
чая ли заказ, вина, еды,
ждали, заслоняя окна.
За руку держать
мог единственный, но говорить мне «ты» — нет.
Радостью колеблемая речь забылась та,
список вин и виды в стёклах так и простоят.
Человек один под осень. Движется сюда
зажигалка-пистолет.

* * *

В конце ноги белеет пластырь,
как у Беллини дальний пастырь
на полотне,
посередине одеяла,
а я ли этот конус или предъявленная мне
на время ночи в полотняных
канавах, рытвинах, полянах,
условно вписанная в них
химера — не понять. Сужаясь,
в конце концов и жизни шелест
из предложений назывных,
и стёртый палец — всё утихнет.
И даль сама себя постигнет,
оставив нас одних.

* * *

Мы были вместе, помню я...

А. Блок

ночь волновалась
умер Блок
ночь волновалась скрипка пела
Блок умер ночь переложил
на музыку его стихи
на смерть жены ночь Шостакович
внезапно умерла Н. В.
Варзар в девичестве
во время
нот волновалась астрофизик была
и скрипка пела звёзды
ночь Нина звёзды Нина ночь
Des-dur
DSCH*
Ds =
фотоны выбывают умер
сам фа диез ми ре и ночь
ми ре оптическая толща среды мы были помню я
для голоса и окуляра
виолончели фортепиано
и скрипки

* Дмитрий Шостакович

Шостакович слышен
на ранние стихи на веки монеты на протуберанцы
нот увеличенную кратность
стих Александр Нина Дмитрий
стих
умер умер умерла

* * *

Спи, я начну. Спи мне в унисон,
паузу дли ночную.
Смотри, как дыхания пар вознесён.
Продышали воронки
отдельные стебли, былинки
в тяжёлом снегу. Так и мы
жизнь продышим насквозь — и на волю —
из сердца-волынки
голубые клубы.

ЭПИТАФИЯ

В. Мамышеву-Монро

Ты был Монро, Полонием, Данаей,
Орловой и Офелией, что важно
в свету последних, но об этом рано,
Луи в оборках, Гитлером в усах
и карликом в Кремле, но также солнцем.
Ты обращался столькими, что даже
ты обернёшься, кажется, сейчас,
посмотришь в эту сторону из той,
где до сих пор вода, Монро, попробуй.

Скулой скалы и облаком надбровным
зажат и блещет дальнозоркий день.
Я отстраняюсь до тех пор, пока
не разгляжу оставленное было,
во всех деталях, место: окоём
залива и прибрежные аллеи
бегоний, пляж, колени и лопатки,
окурки на песке и чешую
колониальных крыш. До самых утлых
частиц песка я вижу берег, вплоть
до неделимых пращуров природы —
простейших клеток, крошечных монад,
сплошь состоящих из самих себя
существ, которых видеть-то нельзя
иначе как с огромной высоты,

с которой, вниз лицом, ты озираешь
перед собою кафельное дно
бассейна при гостинице. И жизнь,
как всё, что слишком близко, исчезает.

* * *

Полдень в июле. С наклоном дышу над тобой,
дитя, озирая уснувшее,
пей, тело в тени.
Это лодка, домой мимо плывущая.
Сердце-гребец и уключины тихих ключиц.
Я наклоняюсь тебя заключить
в обе руки, приникаю ко лбу
лбом.
Река об реку дальше,
корма о корму.

ИЗ КНИГИ «ПРИРОДА»

Никого из людей не увижу, очнувшись,
а увижу рассыпчатый лес
на ветру, и Луну в шерстяном
капюшоне и блеск
занесённой косы на шесте,
мягкий занавес крови и тихое небо везде.

Никого не услышу из прежних, словами
говорящих существ, но услышу дословную речь тростника,
глины, зёрен, камней и воды,
разговоры деревьев с грибами,
хор песка.

И откуда я знаю об этом — не вспомню — лесе?
Дупла — зрачки.
Грустный шелест на месте
языка. Но какие теперь языки?

* * *

«Тайны стекла»,
«Невольник» —
названия,
придуманные книгам
в 7 или 8 лет: дыра
на месте их сюжетов.
Только цвет
несбывшихся обложек и на ощупь
осталось, точно плоский апельсин
во всю ладонь,
утраченное что-то.
Скорее сон — скорее забываешь,
но кто невольник и какие
тайны?
Откуда холод? Всё застеклено.

* * *

Жить на дне комнаты,
завтрашнем дне
комнаты, мыслью о нём,
дне.
Затопить и согреться прибывшей водой.
В прежнем порядке вещественный мир продолжаться готов,
разве что вещи набухнут,
и память о них потемнеет во мне.
Просияет во мне.

* * *

...о родителях посреди Юты, в машине,
мимо которой и над,
развевается воздух, и то, как пластами цветной слюды
наступает каньон и сникает, снят
не в фокусе, «на контровом». Верха
шапок — мутон и шерсть,
в среднем зеркале, медленном как река,
отрешенный жест
и в разметке пауз дорогу вниз,
солнца крошечные весы,
линзу в пыли, выраженья лиц, мятые образцы
сланца и кремния, арки глин
представляю, подробный край,
впрок заснятый, этих равнин
пересвеченных снимки поверх стекла.
Ясно вижу бок о бок их,
навстречу летящими, при таком
разрешеньи, что каждая точка, штрих
сохраняется насмерть, одним щелчком.

НЕБО НОЧЬЮ:

медный купорос
наверху перед побелкой. Бедных вес
веток, вытянутых на морозе,
еле
еле держит лес.

Видимое, звуки, быстроту
неба
чувствую во сне и слёз,
мела вкус
во рту.

* * *

Пусть кажется, пока не позовут,
что нет меня,
что Аризона, движась
навстречу камере стрекочет дотемна,
как много лет назад в моём кино, и ужас,
как много лет уже «Дневник Орфея» снят,
но медленной дороги раструб
и опера по радио и над
машиной в высоте шатающийся ястреб — вот это всё, когда не станет мест
ни помнить, ни хранить,
в сокровищнице хлама, останется исходник этот пусть,
засвеченный, любви. Отдельно — фонограмма.

ДИКТОРСКИЙ ТЕКСТ

Это Роднина моя
на одном коньке — другой
кверху держит собственной рукой,
как рубля курс,
как зубчатого Кремля звезду
Роднина моя о лёд скрипя, катится — нога над головой,
скрепа во льду,
палец на коньке,
на веке тень, лак голубой,
ягодамалинкамоя,
ой,
в уме огни...

* * *

вот что
бывшие вещи мои закатились пропали по швам
раскололись на свет и шумы по рукам
разошлись по шкафам истлевают в дали
залегают в песке непорочные платья мои
у чужих заседают непрочные книги мои
развеваются в реках подобные травам чулки
переплавлены в рельсы коньки транспортиры вязального детства крючки
и какая по счёту петля хоть убей
не припомню молекул самих по себе
из себя состоящих поток
из каракуль кометы мелком
по стеклу неподвижного зрения в мире другом

* * *

увижу ли
вижу уже или нет
или
нету уже
видеть некого
так что
не видеть не знать
ни когда я увижу
ни как
ни за чем скрыт
а только тоска о тебе и тоска о тебе
не увидеть совсем и увижу я
разве уже
не теперь
это видимо так
и не здесь

* * *

Весну по дальнему вещанью
передают под утро. Вести с мест
загрузки мусора, движенье улиц, свист,
вещей вокруг беззлобное молчанье
я слышу. Я дышу. По контуру водя,
кто скажет — где конец-начало слуха?
Где я лежу, как чашка для питья
на дне воды, не зная в этом прока?
И между тел небесных и моим
нет места ни движению, ни взгляду, ни яблоку упасть.
Как Парменид — сплошным
я знаю мир.
Но кто-то дышит рядом.

* * *

Жил старик со своею старухой,
жил овраг со своею рекою,
жил дурак со своею разрухой,
жил порог со своею стрехою,
жил варяг со своей рукавицей,
жил пирог с миндалём и корицей,
жил оракул и окунь и Бог
с ними всеми, слегка в стороне.

* * *

Приснилось, что в руках на вынос завёрнутый обед,
видны антенны арф, небес отлогий выпас,
и стадо на просвет то солнца, то луны белеет
поверх сараев, мирных сцен, труб, пристани,
витиеватых мух над нею. Реет флажок. Райцентр.

И в этом сне, как будто в сене старом,
куда ни повернись — кольнёт: повсюду красота,
в кустах пустая тара, ларьки в улыбках звёзд.
И точно знаю, что живу тут недалеко, что до каких-то пор
ходили, а теперь не будут, «Заря» и «Метеор» — обратные суда.
Воздушных подушек сгинул гул
по рекам навсегда.
Но теплится творожник
сквозь бывший мир, и влагу и фольгу.

* * *

Утро кончилось. Линия боли у лба,
глыбы на голове — облаков, и небесных болот колпаки.
Друг на друга ложатся, подобно ветвям в очаге,
две руки, словно бы не моих.
Я сейчас и не помню себя.

Слово «я» — чёрный ключик на дне, и над ним
пролегает беззвучное время — за днём
день. Не дай же
мне понять как вот-вот запылает на пальцах,
замечется холод по мне.
Две руки положив на живот, я не знаю, что дальше.

* * *

Бывают вроде сыроежек
дни — оставляю, помню их,
но только потому,
что ценных мало, а таких — излишек.

Но в старости, на средней полосе,
они уже темнее, больше
горчат. И лишь они и есть во всей своей красе —
класть некуда. И лес, пока домой шёл,
весь кончился.

БОГ ОБЛАКОВ

День сочиняет себя, день себя воздвигает.
Как учитель ходи по рядам, как прораб,
или чайка по краю песка. Вид
событий в расплывах и линиях среза, пера
пробах. Там же, на контурной карте пены — рыб черепа.
Сверху прямоугольные парты —
что гробы. Чуть расходятся швы на горбах
припадающих: нитки — рыбьи зубы в улыбке.

День себя размещает —
гарнизоны своих волн горючих и жизней, таща их
от Тебя и к Тебе,
сверху, Боже, следящему этакой птицей.
Насмарку
пойдут все работы, петиции,
знание мест.
Понапрасну мы гибли в борьбе.

* * *

Перед нами — вода. Наверху — голубая лепнина.
Рядом — кто у кого: конвоиры, семья, сослуживцы.
А ремни на штанах (разрешают ремни и шнурки нам)
и столбы на границах — всё наше, свое. Пораскинем:
танки наши и рыжие ленты,
Крым и воздух, и скважины, и транспаранты.
Мы не скифы уже, мы такие мутанты,
полуурки мы, френды.
Тьмы нас. Кто ни умри — незаметно, зато наш
федеральный гербарий пополнен гербами.
Здравствуй, сторож красивый.
Да здравствует сторож
наш и скрепы с серпами.

* * *

Предатели друзей мертвы,
а думают, что живы.

Данте

Их окружает лес многоочитый в позументах,
войска травы
в росе и славе, прежних
существ останки нежные, валежник,
«amen, amen» — немного вразнобой,
кукушек над малинниками крики,
стволы, допустим.
Где твои улики,
смерть, признаки твои, кого ты им взамен
показываешь, мне, и где там
Лукьянченко, Марховский, Иванов,
Богданич, Раду — где они,
в одном,
вот в этом самом зеркале настенном,
сходящиеся в лес
лица,
всеобщего, как Божия роса?

* * *

Поднимаясь наверх,
мимо запертой комнаты,
осенью, вспомню звонок между странами, смех: «Мы в Форосе.
Теплынь и свежайшая — дешево — рыба *(зевок)*,
с лодок прямо приносят, и всё — фрукты, рыба и овощи — дивное. Дивное мясо. И мёд —
это я понимаю. Орехи так это орехи *(протяжно)*,
сливы, зелень. И даже сейчас, в сентябре, рыбы много...»
Слова забывают навеки
о своем назначении прошлом, бессмысленны губ,
выражения воздух звучащий.
Думаю, на берегу
переносится с места на место легчайший
и поныне кулёк целлофановый — годы спустя,
пахнут рыбами рыбы и моря боится дитя,
и прилив, но входящих по новой
в эту воду Зевесовой хлещет возжой
странный холод, гудок отвечает сплошной
в зоне действий и в зонах отлова.

СРЕДА ОБИТАНИЯ ВИДА:

осадки цемент ковролин
мосты застеклённые плиты и фитнесс подвалы
полотна батальные сцены
мир камер палаты
колонн мир и ванн
мир обоев и пола
мир кухонь осенние цены мир мебели
молы России каналы враги и молебны заводы
трансляции глав по ТВ
ласкающий фауну там августейший физрук
наблюдения мир земноводный
и Господи слава Тебе
что несчастного тигра тайги надоумил отмыться от рук
и уплыть не остаться дарёных зверей посреди
программы событий миров окружающей быстро среды

* * *

Рос низкими кустами вширь,
рядами буковок и нотными рядами вереск,
и это был Псалтирь —
раскрытые на разных псалмах поляны. Птицы там, уверясь,
слетались к проповеди.
Больше не увидишь.

Вдоль трассы
ветошь устилает рощи,
на средних волнах празднично поют в муниципальном храме,
ночь,
и нефть лелеет мощи
во глубине сибирских руд.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Гандельсман. «Трое» в одном лице 7

«Всё задевая углами, пока несли...» 13
«Заслонено, и тем сильнее чувство...» 14
«дождь заштопает-законопатит это это это...» 15
«Голу́бок тьма, как в Риме....» 16
«Предвижу день: похожее на спуск...» 17
«Сколько песка ни насыплешь в овраг...» 18
«Летит по небу витебский любовник...» 19
Центральный парк 20
«Медленная панорама: несколько, обнявшись, лип...» 22
Трое 23
«На проспекте Вернадского детством ранним...» 24
«С видом на пруд и за ним общежитие...» 25
«Прощай, моя огромная, свинарок-пастухов...» 26
«Снег идёт ступеням...» 27
«Сомкнулась за спиной куницы поросль...» 28
«Мимо них ребёнок плачет, накрывают стол...» 29
«Солнце рухнет, и очнусь...» 30
Dazeing 31
«Нежданных углов, подлокотников...» 32
«сон в одежде школьной зимой...» 33
Каракалпакстан 34
«Стол, стулья вокруг разной масти стоят, наклонясь...» 35
«Кроме дыма и урн...» 36
«Берег окна и ровный обрыв стены...» 37
«Не видно — где мы, кто ты не видно...» 38
«Были дни, со мной был человек — напротив, через стол...» 39
«В конце ноги белеет пластырь...» 40
«ночь волновалась...» 41

«Спи, я начну. Спи мне в унисон...» 43
Эпитафия 44
«Полдень в июле. С наклоном дышу над тобой...» 46
Из книги «Природа» 47
«"Тайны стекла"...» 48
«Жить на дне комнаты...» 49
«...о родителях посреди Юты, в машине...» 50
Небо ночью: 51
«Пусть кажется, пока не позовут...» 52
Дикторский текст 53
«вот что...» 54
«увижу ли...» 55
«Весну по дальнему вещанью...» 56
«Жил старик со своею старухой...» 57
«Приснилось, что в руках на вынос завёрнутый обед...» 58
«Утро кончилось. Линия боли у лба...» 59
«Бывают вроде сыроежек...» 60
Бог облаков 61
«Перед нами — вода. Наверху — голубая лепнина...» 62
«Их окружает лес многоочитый в позументах...» 63
«Поднимаясь наверх...» 64
Среда обитания вида: 65
«Рос низкими кустами вширь...» 66

CAPPER'S STEREOSCOPIC VIEWS